АЗБУКА ВЕРЫ

Василий Костерин

Библиотека нераспечатанных бандеролей

Художественная литература · azbyka.ru

Библиотека нераспечатанных бандеролей – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/biblioteka-neraspechatannyh-banderolej

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Библиотека нераспечатанных бандеролей

Василий Костерин

Памяти моего учителя немецкого языка
Евгения Дмитриевича Зайцева

Ума не приложу, на кой ляд
человечеству такая прорва книг.

Кнут Гамсун

Отец и сын жгли книги. В общем-то, в этом действе — ничего нового. Книги, свитки, рукописи — бумажные и даже бесценные кожаные — жгли и до Рождества Христова, и в Средневековье. А совсем недавно один ефрейтор, провозгласивший себя вождём нации, устраивал языческие костры из творений своих идейных противников: Генриха Манна, Зигмунда Фрейда, Эриха Марии Ремарка… Теперь вот Писатель перерабатывает в золу и пепел собственные книги. Тут тоже как бы ничего особенного. Гоголь предал огню второй том удивительных «Мёртвых душ». И сколько их было, таких писателей?! Бумага хорошо горит. Паче всего в истории мировой литературы. Между прочим, в выражении «предать огню» есть послевкусие предательства. По отношению к кому? К себе? К творчеству? К дару Божию? Последнее, пожалуй, наиболее точно выражает суть огненного представления. А те, кто бросал в печь свои выстраданные творения, они тоже стали мёртвыми душами?

Однако здесь и сейчас — под холодноватым солнцем раннего мая — происходило совсем другое: на костре превращали в ничто уже законченные, признанные, даже прославленные, изданные немалыми тиражами книги самого сжигателя. Они возвышались во дворе пологим ребристым холмом. И прибывали каждый Божий день. Пришлось позвать на помощь сына.

Пламя стремилось в небо, но обрывалось где-то на трёхметровой высоте. С вершины пылающей книжной горы срывались только самые проворные языки, редкие искры, иссиня-чёрные хлопья и вьюнки дыма. Они-то и уносили души книг в небеса. А может, на суд Божий.

Костёр разгорался, сын умело, по-крестьянски орудовал кочергой, а старый Писатель равнодушно наблюдал.

Не так-то просто и легко сжечь, почитай, тысячу книг. Сначала разложили костёр из дров. Когда поленья разгорелись, подбросили несколько лопат каменного угля. И только потом уже стали кидать книги.

Если быть точным, то в огонь летели бандероли, туго завёрнутые в коричневатую бумагу и перевязанные кручёной бумажной бечёвкой. Посылки остались не вскрытыми. Сургучные печати являлись неоспоримым свидетельством.

Действительно, не распечатывать же каждую. Хотя сначала рвали обёрточную бумагу: вдруг в бандероли что-нибудь другое? Но скоро бросили это занятие.

Огонь мало привлекал Писателя: видя, не видел. А вот на воду любил смотреть: зеленовато-синее море; шорох волн в прибрежных скалах; зеркал*а* фьордов, затенённые ресницами вековых елей; световые блики на неровном расплывчатом горизонте, там, где небо осторожно касается земли, словно боясь замочить подол, завораживали его. А огонь? За его захватывающей, но какой-то нахальной, цыганской пляской Писателю совсем не хотелось

следить. Разве что иногда он отмечал для себя оранжевый язычок, котёнком подкрадывающийся к уже оплавленным по краям сургучным печатям.

Сын же, наоборот: к морю оставался почти совсем равнодушным (норвежец, называется!), но мог часами смотреть на огонь, даже не *на* огонь, а *в* огонь. Казалось, он мысленно углубляется в сердцевину пламени, в его горячечную переменчивую душу, хочет сродниться с ним и знает об огне бесконечно больше, чем отец, чем кто-либо на земле и на море. Упади сын в костёр, думалось Писателю, он бы сам с радостью превратился в огонь, растворился бы в нём, с лёгкостью и чувством освобождения покинув человеческое сообщество и ненужное тело. Стал бы неким одушевлённым умным огнём. «Брат мой, огонь», — слышалось иногда отцу сквозь жар и гул то желтовато-красной, то багровой стихии.

Всё человечество, пожалуй, легко разделить на тех, кого завораживает огонь, и тех, кто любит созерцать океан, море или даже пресную гладь речных просторов.

Интересно, что слово «огнепоклонник», хоть и неуклюже, но существует, а вот «водопоклонника» — нет. С чего бы это? Ведь они есть, — водопоклонники. Прославляют Нептуна-Посейдона, всяких там наяд, океанид, русалок…

Писателю вспоминается любимое произведение — «Записки из подполья» Достоевского. Когда-то давным-давно начинающий романист не расставался с этой повестью.

Да, неожиданный скачок: из *под*водного царства — в *под*полье.

Писатель слегка вздрагивает: опять раздаётся чертовски, даже адски надоевший велосипедный звонок у ворот…

С чего же всё начиналось?

В то раннее, свежее до мурашек, утро, в свете просыпающегося солнца, серо-коричневая обёрточная бумага казалась отполированной и оттого ещё более холодной.

У романиста оставалось множество почитателей во всём мире, и его не удивила очередная посылка. Скорее, привёл в некоторое недоумение обратный адрес. Отправитель — совершенно незнаком получателю. К тому же обитал где-то в крохотном городке на краю света. Писатель небрежно бросил бандероль на стол. Ножа для разрезания бумаг под рукой не оказалось, — опять внуки утащили. Что может прятаться в обёртке? Роман или пьеса какого-нибудь устаревшего сочинителя, вроде Ибсена или Бьёрнсона? Или напротив: новомодного писаки, для которого безостановочный бег фабулы важнее психологии?

На следующий день он получил ещё две бандероли. Опять: ничего необычного. Бывало и по три-четыре бандероли приходило, а писем — так и не счесть. Однако обратный адрес удивил: снова из того же Богом забытого городка. Любопытство победило старого романиста. Иссохшие старческие пальцы не сомневались — в бандероль упаковали книгу. Если б писатель почувствовал любой другой предмет, он сначала поискал бы нож. Но внутри — книга! Ноготь большого пальца легко нашёл в обёрточной бумаге зацепку и с нетерпением разорвал глянцевитую упаковку. Короткий треск, и из неровного надрыва и вправду выглянул томик, открылось даже заглавие внизу: *Роман*, — прочитал Писатель. Неужели ещё кто-нибудь решился написать сочинение с таким же названием? Было б странно… Между тем указательный палец сам собой отогнул верхний обрывок обёртки, а там стояло его, Писателя, собственное имя. Открыв книжечку, он узрел и дату — 1890. Да, сомнений не было: в руках он держал первое издание своего произведения, которое сделало его знаменитым на весь мир. Да, именно *Роман* и воссозданное в нём полуголодное детство принесли ему славу, Нобелевскую

премию и обеспеченное существование. Пятый ребёнок в семье сапожного мастера, еле сводившего концы с концами, стал богачом, нуворишем, смог купить целое имение. Теперь, как у Льва Толстого, у него не было постоянных и изматывающих забот о хлебе насущном. Можно только читать, думать, сочинять. И с иронией пописывать о богачах. Может быть, иногда каяться в своём собственном богатстве, как это делал тот же Толстой. И заниматься благотворительностью?

Но кто и почему прислал теперь — через пятьдесят пять лет после первого издания — этот короткий роман? Да, в библиотеке Писателя не сохранилось его первое издание. Неужели кто-то проведал об этом и сделал подарок? Писатель полистал такую далёкую, но дорогую сердцу книжицу. И опять можно с уверенностью заметить: да, до него ещё никто не описывал полуголодную юность с такой психологической точностью и глубиной.

Писатель пытался разгадать смысл посылки, но тут из потрёпанных страниц выпало коротенькое письмецо на розоватой бумаге. В левом верхнем углу красовался голубой цветочек с голубыми листьями на голубом же стебле. От листка почти неуловимо веяло выдохшейся парфюмерией, вроде бы французской.

Получатель подкрутил седые усы, не глядя, взял со стола пенсне и, не водружая его на орлиный нос, чуть прищурившись, отставив руку, стал водить левым овальным стёклышком вдоль ровных заученных букв: «Я полюбила Вас с первых строк Вашей первой книги. Теперь же я глубоко разочарована. За Ваши фашистские убеждения, за Ваше сотрудничество с нацистами, в знак протеста, я возвращаю Вам Вашу книгу. Надеюсь, что в моей душе не останется и следа от Вашей писанины, а моя родная, любимая Норвегия Вас, обманщика и лицемера, осудит, благополучно позабудет, как дурной литературный сон! Фрёкен Йетта Нагель-Андерсен. P.S. Своё письмо к Вам я обнародую в нашем газетном листке. Надеюсь, многие Ваши почитатели последуют моему примеру».

В обратном адресе отправительница указала, видимо, имя отца. Или просто вписала фальшивое местожительство. Но это не важно.

Да-да! Именно так и начиналось. Сначала две-три посылки в день, потом десяток, а то и поболе. Пресса бросилась на новость, как настороженная собака на отварную кость. Об этой странной акции услышали в других странах, и Писателя забросали бандеролями со всех концов Скандинавии, Европы и даже Латинской Америки. Читатели возвращали любимому романисту его книги! Непрерывным потоком! Навсегда!

Вот это наказание! А точнее — казнь! «Эшафот души!» — сформулировал Писатель в себе. Или средневековое аутодафе? Только сжигаются не люди, а книги. Впрочем, почему не люди?! В романах масса действующих лиц. С некоторыми читатели сроднились душой, представляли их живыми, воспринимали как своих собеседников и даже друзей. И вот эти «герои» и «собеседники» горят синим пламенем. Они-то чем виноваты? Или всё же у них своя особая художественно-романная жизнь, и её не отнять?

Скоро посылки забили все подсобные помещения и дворовые пристройки. Прошёл слух, что участники норвежского антифашистского Сопротивления собирают книги Писателя и торжественно сжигают на площадях. Действительно, аутодафе. Книги записали в еретики. Неужели забыли почти вчерашние костры нацистов?

Тогда-то в имении и возникла идея сжечь всё, не глядя. Действительно, не складывать же их в имении штабелями, да и места не хватит. Только если построить амбар. Просторы усадьбы позволяют…

Другой вариант — публично покаяться в своих убеждениях — даже не приходил в голову, тем более не ложился на сердце Писателю. В этом случае, может быть, и простили бы, перестали присылать книги и угрожать публичным судом, открытым процессом.

Почтальоны сначала искренне сочувствовали земляку, только жаловались: битком набитые сумки оттягивали непривычные плечи. На велосипеде же приходилось делать до трёх рейсов от почты до имения. Однако скоро они стали вручать бандероли с нескрываемым злорадством и каким-то нетерпеливым притоптыванием, словно в такт пляшущим языкам пламени. А ведь кроме газет, наверное, ничего в жизни и не читали. «Смердяковы», — покачивает головой Писатель.

Младшая дочь не расставалась с ножницами. Марки были её страстью. Казалось, она, единственная в семье, радовалась лавине посылок. Особенно зарубежных. Она вырезала из обёртки прямоугольнички, а на каждом красовалось две-три марки. Дальше же отмачивала в блюдце с чуть тёплой водой, потом сушила при комнатной температуре, разложив на Aftenposten, гладила утюгом помятые, чтобы расправились. Между прочим, было время, когда газета выпрашивала интервью у Писателя.

Какой-то чудак или фанат из Швеции прислал целое собрание сочинений — шесть томов. Тяжеленная посылка была сверху донизу обклеена разноцветными марками. Настоящее пиршество для дочери. Правда, марки — одинаковые, разных — только четыре. Филателистка-любительница сохранила все, на случай обмена. Лишь одну надорванную выбросила. С лёгкой душой.

Сколько ещё недель, месяцев, может быть, лет будут приходить эти ненавистные книги? На слове «лет» Писатель содрогнулся. Впрочем, ненавистны не романы, о них Писатель думал с лёгкой гордостью. Выводили из себя аккуратно упакованные бандероли. Казалось, каждая отнимает целый день, или неделю, даже месяц жизни. А ведь и жить-то осталось всего ничего. В августе стукнет восемьдесят шесть лет — не шутка. Неужели полуголодное детство сделало его долгожителем?

Он сидит перед костром, который кажется ему морем на закате, кроваво-красные волны опаляют его своим дыханием. Вспоминает свою переписку с Гёббельсом, кружится в голове золотистая Нобелевская медаль — свой дар министру пропаганды. Приходит на память и нашумевшая встреча с Гитлером. Единственная беседа закончилась нервной размолвкой. Писатель влюблён в немецкую культуру, он искренне поддерживает нацизм, но только немецкий. Норвежский же фашизм его разочаровывает всё больше. Однако неслыханное дело: какой-то романист, пусть и знаменитый на весь мир, осмеливается просить Гитлера об избавлении страны от министра-президента Квислинга и Йозефа Тербовена — рейхскомиссара Норвегии. Это всё равно что требовать от фюрера освобождения Италии от Муссолини. Только для этого надо было б найти итальянского писателя. И тоже Нобелевского лауреата.

Вспоминается почему-то изречение Гейне: «Там, где сжигают книги, скоро начнут сжигать и людей». Людей, да… Но кто же знал, что всё обернётся расизмом, бесчисленными жертвами и зверствами!

— Так называемая «общественность», отец, во всех газетах требует открытого суда над тобой за сотрудничество с нацистами. Сейчас ведь в Норвегии самым популярным стало уродливое словечко «коллаборационизм». И выговорить-то непросто.

— Главная нелепость во всём этом то, что меня называют предателем. Кого я предал? Я всю жизнь любил Норвегию. Я стремился сделать всё для процветания Норвегии, ради её

будущего.

Оба говорят громко, подчас кричат. Поневоле. Отец катастрофически теряет слух. Наследник маятником то склоняется к уху Писателя, то выпрямляется и, пригнув светловолосую голову, вновь охотно погружается взглядом в бушующий огонь. И бросает слова, словно из огня.

Между прочим, бумага горит по-особому, не так, как дрова. Да и пламя шумит совсем по-другому. Без потрескивания, без завывания. Обёрточная бумага сначала вздувается, пузырится, искажая старательным почерком написанный адрес, потом лопается на части; перед смертью украшает себя по краям пульсирующей ярко-пунцовой оторочкой. И скоро от неё остаётся только чёрный скорчившийся трупик. От малейшего прикосновения он разваливается в хлопья. Если же опять попадает в огонь, сереет и превращается в легчайший невесомый пепел, который приятно растереть между пальцами. Кожа принимает его, как муку мельчайшего помола — густую и чуть маслянистую.

— Я не боюсь, — продолжает разговор Писатель. — Мне есть что сказать любому судье. Даже на Страшном Суде. С тех пор, как пришла глухота, за неимением собеседников я всё чаще говорю с Богом.

Он обращается к сыну натужно сиплым и нарочито уверенным голосом, в котором сквозит лёгкое недовольство собой.

— Но тебе не простят некролог. Неслыханно! После самоубийства фюрера ты назвал его «борцом за права народов».

— Из чистого рыцарства, сынок, из чистого рыцарства. И потом: в моём возрасте не отрекаются. К тому же сейчас речь не обо мне, а о тебе. Твою службу в СС, твой Железный крест тоже не простят. Никто не посмотрит на то, что ты служил лишь в полку пропаганды. Я своё отжил, но тебе жить да жить.

— И всё же, отец, ещё ни одного писателя в мире так жестоко не наказывали его читатели-почитатели. И кто они?! Те же самые люди, которые десятилетиями носили тебя на руках. Ведь они-то отреклись от тебя! И от твоих героев, кстати.

— Они слабые люди, слабые сердца. На днях пришла очень милая девочка. Постучала у ворот. Я вышел, чтобы услышать: «Мама сказала, чтобы я вернула вам ваш *Роман*, потому что вы предатель!» Так заученно, но мило, с чувством, продекламировала это, как будто со школьной сцены. И бросила книгу мне в грудь. Не успел поймать. В полёте книжка раскрылась, две страницы — сто сорок шестая и сто сорок седьмая — покрылись замысловатыми пятнами нашей усадебной грязи. Поднял, буду хранить. Не подлежит сожжению. Сами-то ладно, они взрослые, хоть и слабые, но зачем детей в это дело втравливать и отравлять? Чистые души — ненавистью. Или зимой иду по дороге, а мне в спину летят снежки, гуртом летят, густо. И кидают молча, сосредоточенно, прицельно. Лиц не вижу, но, наверное, злобно. И опять дети. Бедные, бедные… Лучше уж что-нибудь кричали. Я заплакал от жалости к ним.

— Хорошо, что зимой, а летом могли бы и камнем запустить.

— Sic transit gloria mundi! Так проходит земная слава, дорогой мой. Отлетает, уносится, рассыпается вместе с детскими снежками в спину. Достоевский сказал бы, что они мстят мне за свою первую любовь ко мне. Помнишь Lise из *Братьев Карамазовых*. Вот они все вышли оттуда, из неё. Ещё раз скажу, что не боюсь суда читателей. Он мне стоил нескольких бессонных ночей. Тем более, не боюсь суда уголовного. Он ничтожен в сравнении со Страшным Судом. Пора вспомнить об этом последнем Суде. Только не о том сейчас думается…

— А о чём, если не секрет?

— Какие секреты! Просто я перебираю свои грехи… Как острые камни на берегу фьорда, в котором заблудился Гольфстрим.

— Грехи… — ворчит сын. — Эти отправители-отравители доказывают, что они почитатели не от слова «чтить», а от слова «почитать», полистать немного, на сон грядущий.

— Ты знаешь. Я всегда считал и не скрывал этого, — сменил тему Писатель, — что норвежская культура может приобрести мировое значение только в союзе и единстве с немецкой. Сейчас Европа радуется победе Америки над Германией, но попомни моё слово: англо-саксонский дух и американизм заведут человечество в тупик, злой дух наживы убьёт в Европе остатки живого культурного наследия. Америка отреклась от своих европейских корней, ей не дорог*а* культура других народов, и отсюда — их самодовольство, пренебрежение, даже враждебность к нам. В Америке не было, нет и уже не может быть *духовной элиты*. «Страной торжествующей бездуховности» назвал её, кажется, Спенсер. А поскольку своей исторической традиционной культуры у них нет, они подменили её цивилизацией. Свобода в Америке — это свобода лишь для неё одной, для американского образа жизни — это *вседозволенность*, если опять вспомнить Достоевского. Влияние американизма пагубно скажется не только на культуре, но, в конечном счёте, и на мировой экономике. Не нацизм, а американизм приведёт мир к последнему акту трагедии. Уверен: если не ты, то твои дети станут свидетелями мировой катастрофы. Над Америкой — чёрное небо, сынок. Прости, я, кажется, начал пророчествовать в подражание Достоевскому, что мне вроде бы не свойственно…

Неслышно к шумному жаркому огню подходит жена Писателя. Останавливается у него за спиной. Мягко вступает в разговор:

— Хватит швырять книги, давайте дадим догореть костру, а из того, что осталось, и новых поступлений устроим необычную библиотеку. Аккуратно расставим по полкам невскрытые бандероли. — Она говорила с придыханием: то ли редкие порывы ветра, приносившие едкий дым, мешали набрать воздуха в лёгкие, то ли с трудом сдерживала внутренние слёзы. — Пройдут какие-нибудь двадцать-тридцать лет, отправители бандеролей или их потомки станут стыдиться нелепого и недостойного поступка. И каким уроком и упрёком станет такое собрание сочинений для читателей. Да! «Библиотека нераспечатанных бандеролей» — так мы её назовём. Она станет лучшим памятником тебе, мой дорогой. Мы выстроим её в форме некрополя. На фронтоне напишем золотыми буквами: Habent sua fata libelli — книги, как люди, имеют свою собственную судьбу, не подвластную ни писателям, ни читателям, ни тем более политическим режимам и правителям — факирам на час.

Верная супруга склоняется и целует мужа в макушку, покрытую редким седым пушком.

— И ещё она станет мемориалом жестокости читателей, — подхватывает сын.

— Это тут ни при чём! Для чего нам быть судимыми их совестью, — ласковым довольным тоном возражает мать. — Мы построим эту небывалую библиотеку — хранительницу нераспечатанных томов! Единственную в мире библиотеку, в которой невозможно читать. Одной из достопримечательностей собрания станет единственная не завёрнутая книга — та, которой бросила в тебя через забор та милая курносая девчушка. По наущению матери. И ещё: сотрудники библиотеки станут проводить здесь экскурсии. С уклоном в географию, например. По обратным адресам. Не сомневаюсь, что одни посетители станут поёживаться и краснеть, другие — уронят хотя бы одну невольную слезу. А выйдя из музея, зайдут в книжную лавку и купят твою книгу. Не для того, чтобы проверить, нет ли там фашизма, а просто: чтобы узнать

тебя, твоих героев, твои мысли и твою любовь.

Она говорит с видимым радостным облегчением, словно находит выход из глухого безнадёжного тупика.

А два костра продолжают гореть. В обоих один и тот же «горючий материал». Только первый разожгли бывшие читатели из ненависти, а второй — сам Писатель, по необходимости.

Старый романист опять слепо глядит в огонь, как будто в нём горят не книги, а его грехи. Или прожитые годы? Каково это? В восемьдесят шесть лет (без малого) предстаёшь перед судом? Впервые в жизни! А на тебя выплёскивается ненависть соотечественников и презрение читателей со всего света. И даже под таким безжалостным и мучительным прессом ты не хочешь отречься. И даже не закрадывается предательская мысль: а почему бы и не…

Писатель ещё не знает, что всего через три недели последует домашний арест, а ещё через три долгих недели неопределённости его насильно увезут в больницу, где он будет штопать себе носки, латать свитер на локтях, зашивать суровыми нитками порвавшиеся калоши, а медсёстры демонстративно откажутся разговаривать с пациентом и будут обслуживать его в ледяном северном молчании.

Не знает, что его отправят в Осло, в психиатрическую лечебницу, где, несмотря на все протесты, будут подвергать современным методам психического воздействия.

Не знает, что отдадут под суд, который припишет ему «старческое слабоумие», но лишь затем, чтобы не сажать в тюрьму.

Не знает, что его жену, арестованную ещё раньше у него на глазах, приговорят к трём годам лагерей, заменив их позже на девять месяцев тюрьмы. За что же? За то, что она, бывшая актриса, читала произведения своего мужа на публике?

Не знает, что он в пух и прах рассорится с женой потому, что она, спасая супруга от наказания, слишком откровенно расскажет об их семейных отношениях «лечившему» мужа психиатру-фрейдисту.

Не знает, что он докажет свой здравый ум и негаснущий талант — начатым в жёлтом доме и законченным в доме престарелых — рассказом «По тропинкам, заросшим травой». Или можно и так перевести: «На заросших тропах памяти». А уж если совсем по-русски, то можно предложить поэтичное «Позарастали стёжки-дорожки…»

Не знает, что родная Норвегия накажет его по-другому: не тюрьмой или бессрочной психбольницей, а штрафом. Но «контрибуцию» назначит такую, что он будет разорён и останется нищим. Как в детстве, отрочестве и юности.

Не знает, что из одного дурно пахнущего дома — для умалишённых — его перевезут в другой, припахивающий клопами и застарелой плесенью, дом. Для престарелых. Но там (ура!) ему снова разрешат писать!!

Не знает, конечно, что жизнь ему спасёт mr Molotoff. Вячеслав Михайлович, родившийся в год выхода *Романа*, в отрочестве, будучи ещё Славиком Скрябиным, зачитывался книгами Писателя, а в конце войны мягко надавил на норвежское правительство в изгнании. А ведь горячие головы на родине Нобелевского лауреата предлагали расстрелять или даже повесить его. За убеждения, от которых он не захотел отступиться.

А как же три десятка покоривших мир произведений, в которых столько любви к крестьянам, к женщине, к Норвегии с её заснеженными горами и скалами, гостеприимными лесами и таинственными, загадочными долинами, с морями и глубокими полноводными реками, неисчислимыми озёрами и фьордами, уютными городками и ухоженными сёлами? Ведь этой щемящей любви с избытком хватило бы на всех Стокгольмских избранников вместе взятых? Но нет, о его шедеврах не было и речи. Всё забыто. Вот только русский Молотов не вычеркнул творения Писателя. Ни из души, ни из сердца, ни из памяти.

Пока же сын борется с некоторыми отсыревшими в ненужном пути бандеролями, разбивая их кочергой. Они совсем не хотят гореть, дымятся, сопротивляются, цепляются за жизнь в уютной обёртке. Вот наследник, родная душа, разворошил кучу дымящихся книг, опять плеснул в огонь полкружки керосина. Непокорные бандероли с потёками сургуча сдались на милость победителя, но пламя этого не оценило — никаких пленных! — вспыхнув, как при взрыве, оно осело и с лихорадочной жадностью приступило к уничтожению упорных сопротивников.

Вполне возможно, что рукописи не горят, но книги — пылают. Да ещё как! Уж кто-кто, а огонь поистине — ненасытимая утроба. Всего и надо-то — несколько порывов ветра. И пошло-поехало-понеслось…

Писатель задумывается на несколько мгновений. И тут же лёгкая дрожь проходит по телу. Резкий велосипедный звонок врывается в довольное урчание огня.

Опять почтальон настойчиво просит открыть калитку. Мог бы воспользоваться деревянным молотком, который висит под узким навесом над воротами. Но нет! Он будет хвалиться надоедливым звонком, потом лихорадочно вывалит бандероли у подножия бумажного холма, с блудливой усмешкой, по-лакейски, две-три подбросит в непотухающий костёр. И отбудет с горделивым, победным видом, выпрямив спину и цепко держась за высокий гнутый руль.

Среди посылок — не редкость заказные. Писателю приходится каждый раз, покряхтывая, вставать, расписываться неуверенной рукой в получении. И так без конца.

До Второго Пришествия. До Страшного Суда…

И вновь чуть вздрагивает старый, но всё ещё великий писатель.

Невдалеке раздаётся звучный треньк. Очередной почтальон, объезжая холодную и унылую майскую лужу, зачем-то заливисто сигналит.

Хоть бы уж скорей раздался последний звонок!

Не покидает сегодня романиста «подпольный человек». Писателю иногда кажется, что тот сидит рядом на ошкуренном вековом бревне, скрестив не достающие до земли ноги, и, закрываясь узкой нервной ладонью от огня, сочувственно посматривает на сгорбившегося старца. Писатель даже явственно слышит шёпот: «Дважды два — не обязательно четыре. Стоит захотеть, и станет пять». Голос глухой, словно обожжённый огнём и доносится как бы из пламени… Или из подполья? Из подполья сознания.

«Может быть, и сам я всю жизнь оставался подпольным человеком? — задаёт себе неожиданный вопрос уставший от жизни романист. — И сейчас рядом со мной двойник оттуда? Да и идея жены насчёт „библиотеки” выглядит какой-то подпольной: то ли музей, то ли захоронение. А название хорошее, даже загадочное — и интригует, и со смыслом…»

А книги горят. Горят книги!

Треплют огненными языками страницы, пламенеют, пылают, полыхают. Неугасимый, всесожигающий, огнедышащий костёр. Не зевай, огонь, пока дают!

Но не сгорают населяющие их герои и персонажи. Не боятся огня! Ведь и сами они родились в огне. В светлом огне вдохновения.

Уходят книги, и пока этому не видно конца. А как же «библиотека нераспечатанных бандеролей»? И что станется с той раскрывшейся на лету и запачканной книжкой невинной круглолицей девочки с солнечными веснушками?

Огонь не отвечает. Он безоглядно и прожорливо поглощает лёгкую добычу.

Москва — Сегед, 2018

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch